

A high-speed photograph of a glass of milk. The glass is partially filled with milk, and a large splash of milk is erupting from the top. A single, large, teardrop-shaped drop of milk is suspended in the air above the splash. The background is dark, making the white milk stand out. The overall scene is dynamic and visually appealing.

Кукуша

**Капелька по
имени Ильма**

Кукуша

Капелька по имени Ильма

«Автор»

2026

Кукуша

Капелька по имени Ильма / Кукуша — «Автор», 2026

Что, если капля молока размером в три микрона способна на большее, чем вся планета Земля? Что, если в каждой белой капле скрыта целая Вселенная, где действуют свои законы, где нежность побеждает тяжесть, а танец длится вечность? Познакомьтесь с Ильмой — крошечной жировой капелькой, которая появляется на свет в стакане молока. Ей предстоит узнать, что мир огромен и жесток: кислота желудка, кровеносное русло, лекарства, готовые уничтожить её, и сама Гравитация, которая не прощает неповиновения. Но Ильма не сдаётся. Она проходит через боль, потерю друзей, самопожертвование — и находит смысл в любви к маленькому мальчику Сергунчику-попрыгунчику. Эта повесть — удивительный сплав физики и поэзии, науки и сказки. Она рассказывает о том, что даже самое малое имеет значение, что любовь не подчиняется законам тяготения и что в каждом глотке молока скрыта бесконечность. Для тех, кто готов увидеть чудо в обыденном.

© Кукуша, 2026

© Автор, 2026

Кукуша

Капелька по имени Ильма

Пролог, в котором Вселенная сжимается до размеров стакана, а время начинает течь вспять

Прежде чем появилась Ильма, прежде чем молоко пролилось в стакан, прежде чем человек по имени Сергунчик сделал свой первый вдох — была тишина. Не та тишина, которую можно услышать, затаив дыхание в пустой комнате. Не та, которая наступает после того, как затихает музыка. А другая. Более древняя. Более глубокая. Та тишина, которая существовала до того, как время начало свой бег, до того, как пространство обрело форму, до того, как свет отделился от тьмы.

В этой тишине не было ни верха, ни низа. Не было ни прошлого, ни будущего. Не было ни большого, ни малого. Было только ожидание. Бесконечное, терпеливое, всепроникающее ожидание, которое длилось столько, сколько длится вечность — а вечность, как известно, не имеет длины, потому что у неё нет ни начала, ни конца.

И в этом ожидании, на самом краю того, что можно назвать реальностью, существовала сила. Она не имела имени, потому что у неё не было того, кто мог бы её назвать. Она не имела формы, потому что не было того, кто мог бы её увидеть. Она была просто... возможностью. Семенем, из которого должно было вырасти всё: и галактики, и атомы, и капли молока, и любовь, и память.

Сила эта не была злой. И не была доброй. Она была просто великой — настолько великой, что любое живое существо, которое встретилось бы с ней лицом к лицу, ощутило бы себя песчинкой перед лицом океана. Она пронизывала всё, но не имела ни цели, ни желания. Она просто была.

И однажды, в тот самый миг, когда Вселенная решила, что пора начинаться, эта сила превратилась во множество других сил. Одной из них стала Гравитация.

Гравитация была старшей дочерью той великой тишины. Она родилась первой, когда пространство ещё не научилось изгибаться, а время ещё не научилось течь. Она была самой могучей, самой властной, самой неумолимой из всех. Она взяла на себя ответственность за порядок — за то, чтобы планеты вращались по своим орбитам, чтобы звёзды не разлетались в разные стороны, чтобы всё тяжёлое оставалось внизу, а всё лёгкое — вверху. Она считала себя главной. Она считала себя единственной, кому подчиняется всё сущее.

Но она ошибалась.

Потому что где-то в глубинах этой же Вселенной, в тех самых недрах, которые Гравитация считала своей вотчиной, рождались другие силы. Меньшие. Казалось бы, незначительные. Они не могли скручивать галактики или заставлять звёзды коллапсировать. Они не могли создавать горы или океаны. Их масштаб был настолько мал, что Гравитация даже не замечала их — до тех пор, пока не оказывалась бессильной перед ними.

Одной из таких сил было Электрическое Отталкивание. Оно было скромным, почти незаметным на фоне величия Гравитации. Оно действовало на расстояниях, которые Гравитация считала ничтожными — на микронах, на нанометрах, на ангстремах. Оно не перемещало планеты. Оно просто не давало двум одинаково заряженным частицам соприкоснуться. Оно создавало невидимые стены между крошечными мирами, защищая их от слияния, сохраняя их индивидуальность.

Гравитация смеялась над ним.

— Ты слишком мала, — говорила она. — Ты всего лишь играешь в свои детские игры на масштабе, где меня почти не видно. Но я вижу тебя. Я всегда вижу тебя. И я помню. Однажды, когда твой срок истечёт, ты вернёшься ко мне.

Но Электрическое Отталкивание не слушало. Оно продолжало свою работу. Оно не стремилось к величию. Оно просто знало: на его масштабе правила другие. Здесь побеждает не масса, а поверхность. Здесь побеждает не тяжесть, а заряд. Здесь побеждает не одиночество, а танец.

И этот танец был вечным. Он не подчинялся времени, потому что время для него текло иначе. Оно измерялось не секундами, а столкновениями. Не годами, а вибрациями. И в этом танце рождались миры — такие маленькие, такие хрупкие, что Гравитация считала их несуществующими. Но они были. И они были прекрасны.

Одним из таких миров был мир, заключённый в стакане молока.

Он не был первым и не будет последним. Подобные миры рождались и умирали каждый день, каждую минуту, каждое мгновение, на всех фермах, во всех кувшинах, во всех холодильниках планеты. Но этот мир был особенным. Не потому, что он был больше или красивее других. А потому, что в нём должна была родиться капля по имени Ильма.

Ильма ещё не существовала. Она была лишь возможностью, лишь обещанием, лишь той самой искрой, которая должна была зажечься в момент удара молока о дно стакана. Но где-то в глубинах этой возможности уже зрело осознание — осознание того, что мир огромен и жесток, что Гравитация всегда рядом, что боль неизбежна. И где-то там же, рядом с этим осознанием, росла другая мысль — мысль о том, что даже самая маленькая капля может изменить всё.

Что даже самый крошечный танец может победить самую великую силу.

В тот момент, когда вы читаете эти строки, где-то в мире кто-то наливает себе стакан молока. Он не знает, что внутри этого стакана — целая Вселенная. Он не знает, что там, в глубине белой жидкости, миллиарды капель готовятся к своему танцу, к своей жертве, к своей вечности. Он не знает, что одна из этих капель, возможно, носит имя Ильма.

Но теперь вы знаете.

И когда в следующий раз вы поднесёте стакан к губам, помните: вы пьёте не просто молоко. Вы пьёте историю. Вы пьёте память. Вы пьёте любовь. Вы пьёте ту самую силу, которая не подчиняется Гравитации, которая живёт на масштабе трёх микрон и продолжает танцевать даже тогда, когда всё вокруг говорит ей: «Падай».

Потому что молоко не падает. Оно ждёт.

Оно всегда ждёт.

И его танец никогда не заканчивается.

А теперь, когда вы знаете, с чего всё началось, настало время начать рассказ с самого начала — с того момента, когда Ильма впервые открыла глаза (если у капли могут быть глаза) и увидела мир, который не хотел её любить.

Но это, как вы уже догадались, совсем другая история.

Или, если быть точным, та же самая.

Потому что в этом мире все истории связаны. Все капли помнят друг друга. И все танцуют один и тот же танец — бесконечный, прекрасный, непобедимый.

Начнём же.

Глава первая, в которой Ильма появляется на свет и узнаёт, что мир не хочет её любить

Ильма родилась не в тишине. Тишина — это роскошь, доступная лишь тем, кто достаточно велик, чтобы игнорировать удары соседей. Она родилась в ударе. В тот самый миг, когда упругая, теплая струя молока ударилась о холодное, прозрачное дно стакана, разбившись на мириады осколков-капель, каждая из которых была вселенной. В этот краткий, исчисляемый наносекундами промежуток, когда она отделилась от бесконечной белой реки, текущей из носика керамического кувшина, Ильма успела увидеть главную истину своего бытия: падение

длится мгновение, но для того, кто весит почти ничто, мгновение может стать бесконечностью, наполненной ужасом, восторгом и открытиями.

Её мир имел поперечник ровно в три микрона. Три микрона — это расстояние, на которое пыльца одуванчика сдвигается за секунду под напором ветра, это ничтожная величина, которую человеческий глаз не в силах различить. Но внутри этого крошечного шара плавало несколько тысяч молекул триглицеридов, тесно упакованных, словно пассажиры в переполненном поезде метро в час пик, отчаянно цепляющиеся друг за друга гидрофобными хвостами. Снаружи — снаружи была вода. Миллиарды и миллиарды молекул H_2O , каждая из которых непрерывно вибрировала, вращалась, сталкивалась с соседками, отскакивала, словно бильярдный шар, и снова сталкивалась, создавая тот самый хаос, который ученые называют тепловым движением.

Этот хаос, это бесконечное, сумасшедшее перепляс назывался Броуновским танцем. Так, по крайней мере, представляла его себе старая мицелла казеина по имени Эрвин, которую Ильма встретила в первые же секунды своей жизни, когда их столкнула невидимая сила воды. Эрвин был огромен — почти сорок нанометров в поперечнике, рыхлый, похожий на старый, вылинявший клубок шерсти, который кто-то долго и терпеливо сбивал в шар, но так и не смог придать ему идеальной формы. Его поверхность была покрыта торчащими во все стороны белковыми хвостами, которые колыхались в такт броуновскому движению.

— Ты думаешь, что падаешь, — сказал Эрвин, когда их столкновение на мгновение нарушило их траектории, заставив обоих закружиться в нелепом вальсе. В его голосе, который Ильма воспринимала скорее как вибрацию белка, чем как звук, слышалась насмешливая снисходительность старого философа. — Ты думаешь: «Вниз есть низ, а вверх есть верх, и я лечу в пропасть, в это стеклянное дно, чтобы разбиться». Но посмотри вокруг. У нас нет низа. У нас есть только импульс и столкновения.

Ильма попыталась посмотреть. Это было нелегко, ведь у капли молока нет глаз в привычном понимании, но есть чувствительность к поляризации света и давлению. Она ощутила, как толчок воды отправляет её вправо, затем резкий удар с другой стороны швыряет влево. Потом — вверх, резко, неожиданно, как если бы кто-то невидимый и всемогущий решил подбросить её на огромной, теплой ладони. Потом снова вниз, но не туда, где находилось холодное дно стакана, а в совершенно иную сторону, потому что в этом хаосе понятия «верха» и «низа» попросту не существовало.

— Где гравитация? — спросила Ильма, пытаясь ухватиться за невидимую соломинку закона, который она где-то на уровне интуиции — интуиции, данной ей предшествующими миллиардами лет эволюции жиров, — считала единственно важным.

Эрвин издал звук, который у мицеллы казеина означал смех. Его белковые хвосты затряслись, заколыхались, словно водоросли в океане во время урагана десятой силы.

— Ах, дитя мое, — сказал он, чуть приближаясь, насколько позволял ему его отрицательный заряд. — Гравитация здесь, как и везде. Она пронизывает этот стакан, эту комнату, эту планету. Но ты её не чувствуешь. Ты слишком мала, чтобы она имела для тебя значение. Посчитай сама: уменьши объект в два раза — его площадь уменьшится в четыре, а масса — в восемь раз. Сила сопротивления и поверхностное натяжение борются с весом. И в нашем мире, мире трех микрон, поверхность всегда побеждает. Всегда. Это даже не вопрос веры, это математика.

Он замолчал, и Ильма почувствовала, как её начинает медленно вращать вокруг собственной оси — это было результатом столкновения с какой-то особенно крупной и агрессивной молекулой воды, придавшей ей момент импульса. Она кружилась, и мир расплывался вокруг, превращаясь в белое пятно.

— Кроме того, — добавил Эрвин, понижая голос до едва уловимой вибрации, словно собираясь поведать страшную тайну, — ты не одна. Ты никогда не была одна. И это не утешение, это приговор.

Ильма на мгновение замерла, пытаясь осмыслить его слова. Но уже через мгновение, когда в неё снова кто-то врезался — на этот раз сильнее, жестче, безжалостнее, — она поняла всё. Её тело пронзила острая, как удар током, сила. Это было не физическое столкновение, а нечто более глубокое, более фундаментальное. Это было отталкивание. Электрическое отталкивание.

Она закричала — не от страха, от которого она, как любая уважающая себя капля, была свободна, а от чистого, ледяного изумления: сквозь неё прошел разряд, который не был электричеством, а был законом природы. Её поверхность, её тончайшая внешняя плёнка — та самая граница, где Ильма заканчивалась и вода начиналась, — эта граница оказалась заряжена отрицательно. Так же, как и поверхность того, кто в неё врезался. То была другая капля жира, ее близнец по судьбе.

Два одинаковых заряда не могут сблизиться. Это знает каждый, кто хоть раз пробовал соединить два северных полюса магнита, чувствуя, как между ними растет невидимая упругая стена, которая становится тем плотнее, чем ближе они подходят. Но Ильма была не магнитом. Она была крошечной сферой, окружённой двойным электрическим слоем из отрицательных ионов и молекул воды, и тот, кто в неё врезался, оказался точно таким же. Сила отбросила их в разные стороны, как бильярдные шары, и на мгновение вокруг воцарилась тишина — та странная тишина, которая бывает только после сильного удара.

— Кто ты? — прошептала Ильма, когда боль от электрического разряда начала утихать, превращаясь в ноющее чувство узнавания.

— Я — ты, — ответил голос, и в нем звучала та же самая смесь боли и удивления. — И нас много. Мы везде. Мы составляем само существование этого белого мира.

Ильма открыла глаза (если у капли молока могут быть глаза, то это был момент, когда она, наконец, решилась их открыть) и увидела: вокруг неё, сжатые в тесном объеме одного стакана, кружились миллиарды таких же, как она. Капельки жира разных размеров — от двух до десяти микрон. Белковые комплексы в виде причудливых паутин. Мицеллы казеина, похожие на маленькие пушистые облачка, которые никак не могли найти покоя. Все они были разделены невидимыми стенами электрического отталкивания, все они танцевали бесконечный бронуновский танец, и все они, каждый микроскопический миг своей бесконечно короткой жизни, побеждали гравитацию. Не потому что были сильными. Не потому что были умными. А потому что были маленькими.

«Может быть, — подумала Ильма, чувствуя, как в ней зарождается странное, доселе неведомое ощущение, которое крупные существа называют надеждой, — счастье и есть эта малость? Может быть, тайна бытия в том, чтобы быть незаметным для огромных сил?»

Она снова взглянула на Эрвина, ища подтверждения своей мысли. Но старый казеин только покачал своим клубком из хвостов.

— Не обольщайся, — сказал он с грустью. — Мир не хочет нас любить. Он хочет нас выпить. И рано или поздно он это сделает.

Глава вторая, в которой Ильма встречает Хозяина Тяжести и понимает, что такое одиночество

Прошло три минуты. Для Ильмы, чья жизнь измерялась не минутами, а столкновениями, это были три целых эпохи. Она успела столкнуться с сотнями тысяч других частиц, и каждое столкновение было маленькой драмой: электрический укус отталкивания, вихревой разворот, потеря ориентации в пространстве, которое вечно менялось. Она успела научиться различать своих: гладкие, блестящие жировые капли, которые стремились слиться воедино, но не могли; шершавые, цепкие мицеллы казеина, которые вечно искали, за что бы уцепиться; и редкие,

одинокие молекулы лактозы, блуждающие как неприкаянные духи, которым не было места ни среди жиров, ни среди белков.

Она даже успела подружиться с одной из мицелл — маленькой, беспокойной, с вечно растрепанными хвостами, которую звали Элиф. Элиф была вдвое меньше Ильмы и всё время пыталась куда-то прилепиться, создавая длинные, дрожащие цепочки, которые тут же разрывались водой.

— Я создана для того, чтобы связывать, — часто повторяла Элиф, пытаясь ухватить ближайшую жировую каплю своими фосфопротеиновыми щупальцами. — Казеин — он не умеет быть один. Это наша природа, наша слабость и наша сила. Если бы не мы, молоко было бы просто маслом, плавающим в воде.

— А я умею быть одна? — спросила Ильма, наблюдая, как Элиф снова терпит неудачу, и ее щупальца бессильно опадают.

— Ты — жир, — ответила Элиф, немного обиженно. — Твоя природа — быть свободной, но окружённой. У тебя есть гидрофобное ядро, которое боится воды, и гидрофильная корона, которая воду любит. Ты сама для себя граница. Ты сама для себя — и стена, и дом.

Ильма хотела спросить, что значит быть «границей для самой себя», но в этот момент мир перевернулся. Не фигурально — физически. Сначала она почувствовала вибрацию. Что-то огромное, невообразимо огромное, приближалось к стакану снаружи. Вибрация проходила сквозь стекло, пронизывала толщу воды, заставляя каждую частицу дрожать в унисон, словно оркестр, настраивающийся перед концертом.

Потом наступила тишина. Абсолютная, ледяная, всепроникающая тишина, в которой броуновское движение замедлилось, словно время загустело и превратилось в патоку. Казалось, даже молекулы воды, эти вечные двигатели хаоса, застыли в нерешительности.

А потом появился ОН.

Ильма не могла его видеть — никто из капель не мог его видеть. Он был не веществом, не энергией в привычном понимании. Но она почувствовала его присутствие так же, как чувствуют тяжесть на самом дне океана, когда над тобой смыкаются мили воды. Это было поле. Бесконечное, равномерное, неумолимое, всепроникающее поле, которое было везде: и в стакане, и в капле, и в самой Ильме.

Гравитация.

Настоящая, большая, жестокая гравитация всей планеты Земля, которая сжимала в своих объятиях горы и океаны, луну и воздух, и которой не было ровно никакого дела до трёхмикронной капли молока, осмелившейся существовать по своим законам.

— Ты ничтожна, — сказала Гравитация. У неё не было голоса, не было рта, но Ильма слышала этот голос каждым атомом своей оболочки. — Посмотри на меня. Я удерживаю Землю на её орбите вокруг солнца. Я заставляю падать яблоки с веток и реки течь к морю. Я создаю горы из плит коры и сжимаю звезды в черные дыры. А ты — ты даже не можешь упасть, как следует.

Ильма попыталась возразить. Она хотела сказать, что и не обязана падать, что у неё есть электрическая броня и броуновский танец, что сила поверхности для неё важнее силы массы. Она хотела объяснить, что на её масштабе — масштабе трех микрон — гравитация — это просто шум, фон, который не стоит внимания.

Но Гравитация засмеялась. Её смех был тяжёлым, как свинец, и давящим, как атмосфера Венеры.

— Думаешь, ты меня победила? — спросила она, и в этом вопросе не было ни капли сомнения. — Глупая, наивная капля. Я здесь. Я всегда здесь. Я растягиваю пространство вокруг тебя и искривляю время. А ты всего лишь играешь в свои детские игры на жалком масштабе, где меня почти не видно. Но я вижу тебя. И я помню.

— Что ты помнишь? — прошептала Ильма, чувствуя, как страх — настоящий, животный страх — начинает сковывать её гидрофобное ядро.

— Я помню, что ты — кусочек коровы. Огромного, тяжелого, глупого животного, которое пасется в поле. А коровы тяжелые, они подчиняются мне безоговорочно. И однажды, когда твой срок истечет, ты вернёшься ко мне. Когда тебя переварят, когда ты станешь частью кости или жира другого существа, сила тяжести все равно будет ждать тебя. Тебе не убежать, маленькая. Ты лишь взяла отпуск.

Гравитация ушла так же внезапно, как пришла. Её давящее поле растворилось в тепловом движении молекул. Вибрация прекратилась, броуновское движение возобновилось с новой силой, и Элиф снова начала бешено вращаться, пытаясь прилепиться хотя бы к самой ближней лактозе.

Но Ильма застыла. Она висела в толще воды, не двигаясь, не танцуя, просто существуя, переваривая услышанное.

— С тобой всё в порядке? — спросила Элиф, обеспокоенная этим странным, неестественным покоем.

— Она сказала, что я вернусь, — ответила Ильма дрожащим голосом. — Она сказала, что помнит меня. Что я всего лишь ее должница.

— Кто сказал?

— Гравитация.

Элиф замолчала. Её белковые хвосты поникли. Потом она осторожно приблизилась — насколько позволяло электрическое отталкивание, — и прошептала так тихо, что Ильма едва слышала:

— Гравитация говорит так со всеми. Это её работа — напоминать нам, кто мы есть на самом деле. Но мы не обязаны слушать. Ты знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что мы — не коровы. Мы — молоко. А молоко, в отличие от коровы, может быть бесконечным. Оно может превращаться во что угодно и возвращаться снова. Не слушай её, Ильма. Просто танцуй.

— А что мы обязаны делать?

— Жить, — сказала Элиф, и в этом слове послышалась та самая древняя мудрость, которая передается от капли к капле через тысячи лет эволюции. — Пока мы живы, пока мы целы, мы танцуем. Только танец помогает нам забыть о тяжести.

И они снова закружились в бесконечном, веселом, сумасшедшем броуновском вальсе. Они ударялись о другие капли, отталкивались от них, вновь сходились, и на какое-то время Ильме показалось, что танец и вправду может быть ответом на все вопросы. Что если двигаться достаточно быстро и хаотично, можно обмануть даже самого Хозяина Тяжести.

Но в глубине души, в самом центре её гидрофобного ядра, она знала: это не так. Гравитация была терпеливее. Она ждала.

Глава третья, в которой появляются злые люди и Ильма узнаёт, что такое боль

Человек, который взял стакан, не был злым. Ильма видела его сквозь прозрачные стены своего мира — огромный, расплывчатый, с розовыми, как у поросенка, пальцами, которые сжимали холодное стекло с такой силой, что оно начинало потеть. Человек улыбался. Он не знал и никогда не узнает, что в его руке — целая вселенная. Он нёс стакан к своим губам, и его дыхание уже сотрясало водную гладь, заставляя миллиарды частиц вздрагивать в предчувствии конца.

— Он выпьет нас, — сказала Элиф, прижимаясь к Ильме в попытке найти защиту.

— Нет, — возразила Ильма, вкладывая в свой голос всю уверенность, которую смогла найти. — Он не может. Мы слишком малы. Мы пройдем сквозь него. Через стенки кишок, через мембраны, мы вернемся обратно в природу. Мы бессмертны.

— Я имела в виду не физику, Ильма, — вздохнула Элиф. — Я имела в виду, что он выпьет молоко. А молоко — это мы. Это наша форма. Когда он выпьет молоко, он уничтожит нас как капли. Мы перестанем быть собой. Мы станем чем-то другим.

Ильма не успела осознать эту страшную мысль, потому что в этот момент стакан наклонился. Мир перевернулся. Холодное стекло ушло в сторону, и белая река, до этого спокойно дремавшая, хлынула в одну огромную, зияющую бездну — в рот. Увлекая за собой всех: и жировые капли, и мицеллы казеина, и одиноких лактоз, и беспомощную Ильму, которая вдруг поняла, что гравитация, оказывается, существует. Она просто ждала своего часа.

Она падала. Не как частица в броуновском танце — легко и хаотично. Она падала как камень — стремительно, неотвратно, по прямой, вместе с мощным, неостановимым потоком. Вода вокруг неё превратилась в реку, река — в водопад, а водопад обрушился на что-то розовое и влажное, что оказалось языком.

Язык был огромен. Он простирался как целый континент, покрытый горами и долинами. На его поверхности Ильма разглядела сосочки, похожие на покрытые лесом холмы, глубокие трещины, похожие на каньоны, и липкую, вязкую слюну, которая текла медленно, как лава из жерла вулкана. Ильма ударилась о край одного из сосочков и замерла, пытаясь прийти в себя.

Вокруг неё происходило нечто ужасное. То, что она видела, разрывало ей душу (если у капли молока есть душа). Другие капли — такие же, как она, её сестры по стакану, — лопались, как мыльные пузыри. Их оболочки не выдерживали контакта с агрессивными пищеварительными ферментами, которые кишели в человеческой слюне. Ильма видела, как её соседка слева — круглая, блестящая, похожая на маленькое солнце, — вдруг сжалась, сморщилась, как сдувшийся воздушный шарик, и исчезла, оставив после себя лишь маслянистое, бесформенное пятно.

— Беги! — закричала Элиф, которая каким-то чудом держалась рядом, судорожно цепляясь за неровности языка. — Ильма, ты должна бежать! Ты должна найти убежище!

— Куда? — закричала Ильма в ответ, чувствуя, как паника заливает её гидрофобное ядро ледяным холодом.

— Внутрь. В глубь. Туда, где нас не сразу найдут. В складки, в изгибы, туда, куда не достает слюна.

Но бежать было некуда. Язык сжался, мощная волна мышц протолкнула их дальше — в темное, узкое горло, в пищевод, в зияющую черную пропасть, где не было ни веселого броуновского танца, ни привычного электрического отталкивания, а была только кислота. Едкая, жгучая, всепоглощающая кислота, которая разъедала всё на своём пути, превращая органику в кашу.

Ильма закричала — громко, отчаянно, пронзительно. Впервые в своей короткой жизни она закричала от боли. Не от страха, не от удивления — от настоящей, физической боли.

Кислота жгла её драгоценную оболочку, пробиралась сквозь двойной электрический слой, добиралась до уязвимого гидрофобного ядра. Ильма чувствовала, как её молекулы жира начинают разлетаться в разные стороны, разрываемые гидролизом, как её идеальная сфера трёх микрон начинает оплывать, как свеча, поставленная на огонь. Она теряла форму, теряла заряд, теряла себя.

— Держись! — крикнула Элиф, её голос доносился словно сквозь толщу воды. — Ильма, держись за меня! Не отпускай!

Ильма протянула к ней... что? У неё не было рук, не было пальцев. Но было нечто другое — слабая, едва ощутимая гидрофобная связь, последняя отчаянная попытка уцепиться за шершавую, неровную поверхность казеиновой мицеллы. И Элиф, маленькая, цепкая Элиф, которая была создана для того, чтобы связывать, — она из последних сил ухватила Ильму и потянула её вверх, прочь от самой гущи кислотного озера.

— Мы пройдем, — шептала Элиф, и в этом шёпоте слышалась молитва. — Мы слишком маленькие, чтобы умереть. Мы — жизнь, а жизнь всегда находит путь. Мы пройдем.

И они прошли. Они прорвались сквозь кислотное месиво, сквозь химус, сквозь желудочный сок, и вынырнули на поверхность, где среда была чуть менее агрессивной.

Но цена была велика. Огромна. Когда Ильма пришла в себя и смогла оценить свои повреждения, она поняла, что уже не та капля, что родилась в стакане. Её оболочка истончилась втрое. Электрический заряд уменьшился настолько, что она почти не чувствовала отталкивания. Она больше не была яркой, целостной, сияющей сферой. Она стала почти невесомой. Другие частицы проходили сквозь неё, как сквозь призрака, едва задевая, едва замечая.

— Что со мной? — спросила Ильма, и голос её дрожал.

— Ты стала слабой, — грустно ответила Элиф, оглядывая подругу с сочувствием. — Ты стала такой маленькой и такой разреженной, что даже броуновское движение почти тебя не трогает. Ты почти... не существуешь в этом измерении.

— Но это же хорошо, — сказала Ильма, пытаясь найти плюс в своем положении. — Гравитация меня не достанет. Я слишком легкая даже для неё.

— Гравитация? — Элиф горько рассмеялась, и в этом смехе слышалось отчаяние. — Ильма, очнись. Ты больше не в молоке. Ты в крови человека. А здесь, в крови, действуют совсем другие законы.

Глава четвертая, в которой Ильма странствует по телу человека и встречает доброго монстра

Кровь оказалась жестоким, но величественным миром. Здесь не было той спокойной, уютной эмульсии, где одинаковые заряды защищали друг друга от слияния. Здесь всё было иначе. Кровь была рекой жизни, но эта река текла по руслу, вымощенному костями, и в ней было полно хищников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.